

18+

МЁРТВЫЕ ДУШИ

Чистилице

II

ТОМ

Marc Vitalis

Marc Vitalis

Мёртвые души. Чистилище

«Издательские решения»

Vitalis M.

Мёртвые души. Чистилище / M. Vitalis — «Издательские решения»,

«Мёртвые души» Николая Васильевича Гоголя — великая литературная загадка и вызов. В этой книге я попытался пройти путем, который автор не успел завершить, но предопределил своим замыслом. «Чистилище» — литературная фантазия и продолжение классического сюжета, где Чичиков, лишившись привычных афер, сталкивается с главным судьей — собственной совестью. Приглашаю читателя заглянуть за край легендарного огня, в котором сгорела рукопись.— Marc Vitalis

© Vitalis M.

© Издательские решения

Содержание

Глава I	6
Глава II	16
Глава III	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Мёртвые души. Чистилище

Marc Vitalis

© Marc Vitalis, 2026

ISBN 978-5-0071-1199-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава I

«Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которых на Руси много, которым имена — коптители неба... Просыпался он поутру очень поздно и, приподнявшись, долго сидел на кровати, протирая глаза. И так как глаза были, к несчастью, невелики, то протирание их производилось невероятно долго, и во всё это время в дверях стоял человек его, Михайло, с полотенцем и умывальником. Стоял он час, стоял другой, потом отправлялся на кухню, потом вновь приходил — барин всё еще протирал глаза и сидел на кровати...»

Наконец, издав неопределенный, протяжный звук, выражавший не то зевоту, не то глухое недовольство самим фактом пробуждения, Андрей Иванович опускал босые ноги на теплый коврик. Халат его, некогда шегольской, персидской материи, а ныне изрядно пообтершийся на локтях и потерявший пару тяжелых кистей, сползал с одного плеча, обнажая зябкую шею. Тентетников не поправлял его. Взгляд его, мутный и лишенный всякой мыслительной искры, подолгу останавливался на изразцовой печи, где еще с прошлого года прилипла к белой глазури сухая, расплюснутая муха. Муха эта сделалась для него предметом ежедневного, почти философского созерцания, хотя ни до каких окончательных выводов касательно тщеты сущего Андрей Иванович так и не доходил.

Михайло, отлично изучивший утренние странности своего господина, не смел нарушить эту тишину ни единым стуком рукомыльника. В доме стояла та особенная, тяжелая, удушливая благодать, какая бывает только в усадьбах людей, давно махнувших рукой на всякое движение. Казалось, остановились не только пузатые часы в столовой, но и сам воздух загустел, уподобившись стоячей воде заросшего ряской пруда.

Отец Андрея Ивановича, Иван Федорович Тентетников, был из тех помещиков, которых на Руси именуют «благонамеренными тихонями». Человек он был тихий, кроткого нрава, любил ходить в засаленном капоте по саду, подрезать сухие сучья на яблонях да слушать, как в пруду воркуют дикие утки. В дела имения он совершенно не мешался, передоверив всё старосте Григорию, человеку, впрочем, не столько вороватому, сколько беспросветно глупому, у которого вся агрономия сводилась к тому, чтобы вовремя почесать за ухом пегого коня да вовремя поклониться барину в ноги.

Матушка же Андрея Ивановича, женщина чрезвычайно чувствительная и набожная, воспитывала единственного сына в неге и несказанной нежности. До двенадцатилетнего возраста Андрюша жил, точно редкий экзотический цветок в оранжерее. На ноги ему надевали исключительно мягкие сафьяновые сапожки, чтобы не натер пальчики; прогулки разрешались только в безветренную погоду, а при малейшем чихе в барском доме поднималась суматоха: варились ромашковые отвары, призывалась старая нянька Лукерья с шепотами и заговорами от сглаза, а сам барчук укутывался в три слоя пуховых платков.

От этой ли чрезмерной заботы, или от самого воздуха усадьбы, пропитанного запахом сушеных липовых цветов и сдобных калачей, мальчик рос тихим, задумчивым и крайне впечатлительным. Он мог часами сидеть на краю липовой аллеи, наблюдая, как муравей тащит сосновую иголку, и в уме его уже слагались целые драмы и поэмы об этой муравьиной жизни.

Всё изменилось, когда Андрюше исполнилось тринадцать лет. Отец, почувствовав приближение старости и внезапно возымев амбицию прочить сына в государственные мужья, решил отдать его в училище. Но не в обычную губернскую гимназию, где, по мнению Ивана Федоровича, «только розги переводят да мальчишек наукам без души учат», а в известное на всю Россию юношеское заведение, основанное необыкновенным человеком — Александром Петровичем.

О, это был муж поистине редкого чекана! О нем следовало бы написать целую книгу, ибо подобные люди появляются на нашей земле так же редко, как кометы на небосклоне, и оставляют после себя долгий, сияющий след в душах воспитанников.

Александр Петрович обладал даром, который дается лишь избранным небесами: он умел видеть в ребенке не сырой материал, из которого нужно выколлотить заученные правила, а уже готовую, уникальную человеческую душу. Лицо его, не слишком красивое, с мелкими чертами и глубокими морщинами на лбу, преображалось неизреченным светом, когда он входил в класс. Он не усаживал юношей за скучные зубрежки, не заставлял их твердить наизусть сухие параграфы из древних грамматик.

— Поймите, друзья мои, — говорил он своим звучным, глубоким голосом, в котором слышалась какая-то вещая, пророческая сила, — человек призван на землю не для того, чтобы только числиться в табели о рангах да брать взятки! Человек есть творец, есть строитель духовного здания своего отечества. Учиться нужно не ради чина, не ради крестика на петлицу, а ради того, чтобы сделать землю вокруг себя хоть на вершок светлее и чище.

Александр Петрович преподавал науки удивительным образом. Историю он раскрывал не как сухой перечень войн, битв и царствований, а как великое духовное движение человечества. В его истолковании древние греки и римляне оживали; они становились для юношей не мраморными статуями из учебника, а живыми братьями, горевшими страстным желанием послужить общему благу.

Андрей Тентетников, попав в этот удивительный мир, преобразился в одно мгновение. Вся сырость, вся ленивая нега, впитанная им в родительской усадьбе, слетела с него, точно сухая шелуха. В маленькой груди мальчишки вспыхнул такой жар, такой священный огонь, какого он и сам от себя не ожидал.

Он стал первым учеником. Ночами сидел он над книгами, и пред ним разворачивались грандиозные картины: вот он, выросши, становится мудрым правителем области, строит дороги, открывает школы для простого народа, поднимает мужика из темноты и дикости к свету и знанию; вот он предстоит перед государем и говорит ему смелую, великую правду о нуждах России...

Александр Петрович выделял Андрея из всех учеников. Он видел в нем ту самую тонкость душевной организации, которая при правильном направлении может принести великие плоды, но при дурном обороте дел способна погубить человека.

По вечерам наставник часто гулял с Тентетниковым по тенистым аллеям училищного сада.

— Береги свой огонь, Андрей, — тихо проговаривал учитель, ласково кладя руку на острое плечо юноши. — Свет встретит тебя не розетками из роз. В свете много холода, много глупости и еще больше равнодушия. Тебя будут уверять, что твои порывы — лишь детская глупость, что нужно жить как все, то есть заботиться только о своем брюхе да о кармане. Не верь им! Помни: если ты потушишь в себе огонь, ты станешь не просто обыкновенным человеком — ты станешь ничтожеством, ибо тому, кому много дано, с того много и взыщется.

Эти слова въелись в память Андрея Ивановича на всю жизнь. Они жгли его, они наполняли его душу трепетом и гордостью. Ему казалось, что он создан для великих, небывалых подвигов.

Но, увы! Судьба нанесла юноше первый сокрушительный удар в тот самый миг, когда он менее всего этого ожидал.

Александр Петрович внезапно заболел. Сгорел он быстро, буквально за какую-нибудь неделю, точно свеча на ветру. Смерть учителя стала для всего училища настоящим катастрофическим обвалом. Воспитанники рыдали навзрыд, не стесняясь ни слез, ни прохожих.

Андрей стоял у гроба наставника, точно громом пораженный. Лицо учителя даже в гробу сохраняло то же ясное, высокое и благодное выражение, словно он и оттуда, из заоблачных

высот, наставлял своих осиротевших учеников. В эту минуту семнадцатилетний Тентетников дал себе молчаливую, страшную клятву: никогда, ни при каких обстоятельствах не изменять идеалам своего великого учителя, пронести его факел сквозь всю жизнь и доказать всему миру, что труды Александра Петровича не пропали даром.

Справедливости ради следует сказать, что Андрей Иванович был не единственным, кто давал у гроба Александра Петровича клятву служить высокому идеалу. Их был целый выпуск, горячих, юных сердец, выпорхнувших из училища, точно стая звонких щеглов, готовых огласить своими песнями всю империю. Но Боже правый, как быстро и как беспощадно обломала им крылья эта суровая, гранитная жизнь!

Первый его приятель по пансиону, пылкий кудрявый Шлепкин, который когда-то громче всех читал стихи о свободе и мечтал о просвещении крестьян, ныне служил в казенной палате. За какие-нибудь пять лет он совершенно обрюзг, обзавелся солидной лысиной и женился на дочке рябого купца, взяв за ней в приданое сто тысяч и три каменных лавки на гостином дворе. Идеалы его усохли до размеров квартальной премии, а весь пыл ушел на то, чтобы ловче подсесть своего столоначальника.

Другой товарищ, неистовый Бурдуков, собиравшийся стать новым Суворовым, поступил в гусары. Но, не найдя на своем пути великих битв, он направил всю свою исполинскую энергию на истребление шампанского, игру в штосс и волокитство за уездными барышнями. Он промотал два отцовских имения с такою лихой, чисто русской удалью, что об этом слагали легенды от Твери до самой Москвы, после чего бесследно сгинул где-то на Кавказе, оставив после себя лишь горы неоплаченных векселей.

Они все, эти мальчики с горящими глазами, один за другим сдавались, приспособлялись, вращались в пошлую действительность, обрастая жирком, чинами и равнодушием.

Но всё это случилось с ними позже. А пока, в тот торжественный день выпуска, один лишь Андрей Иванович сберег в себе искру великого наставника. С этим пылающим сердцем, с этой высокой и святой клятвой в груди Тентетников окончил курс и отправился в Петербург — подвизаться на служебном поприще, готовый совершить переворот в государственном управлении и принести отечеству невиданную пользу...

Однако Петербург встретил юного реформатора не звуками фанфар и не распростертыми объятиями единомышленников, а сырым, пронзительным ветром с Невы, бесконечным дождем и ледяным, монументальным равнодушием своих каменных фасадов.

Благодаря протекции одного из дядюшек, Андрей Иванович был определен на службу в один из важнейших департаментов. Шел он туда в первый день с трепетом в сердце, точно священнослужитель, вступающий под своды храма. В голове его роились грандиозные проекты: он мечтал подать директору записку об устройстве крестьянского быта, об упразднении бессмысленного бумагомарания, о введении новых, человеческих начал в делопроизводство.

Но увы! Департамент оказался совсем не храмом. Это была огромная, отлаженная и абсолютно равнодушная мельница, которая перемалывала человеческие души в бумажную труху.

Вступив в просторную залу, где за длинными столами сидели десятки чиновников, Андрей Иванович обомлел. Здесь не было ни споров об истине, ни мысли о служении Отечеству. Слышалось лишь непрерывное, сухое скрипение гусиных перьев, напоминавшее шелест саранчи, пожирающей посевы.

Его начальник отделения, Иван Петрович Крапивин, был человек средних лет, с лицом цвета вареной колбасы, прокуренными усами и глазами, в которых отражалась лишь одна-единственная страсть — следование параграфу. Главным достоинством чиновника Крапивин считал не ум и не инициативу, а умение «выводить буквы без помарок» и расторопность при чистке начальнических перьев.

— Вы, сударь, — проговорил Крапивин, смерив пылкого юношу тусклым взглядом и пододвигая к нему пухлую стопку пожелтевших ведомостей, — свои стихотворные фантазии

оставьте за порогом. Нам здесь поэтов не надобно. Нам надобно переписать реестр о поставке пеньки и сукна за сорок пятый год. Да смотрите у меня: чтобы буквы «ъ» были с ясным нажимом, а буквы «ять» не походили на закорючки!

Андрей Иванович взялся за перо. В первый день он переписывал пеньку с энтузиазмом, полагая, что это лишь временно, лишь первая испытательная ступень. Но прошли недели, за ними месяцы — а ничего, кроме пеньки, сукна да рапортов о ремонте казенных заборов, ему не поручали.

Когда же Тентетников, не выдержав, попытался вставить в очередной отчет собственную мыслишку — деликатное замечание о том, как можно сберечь казенные деньги, заменив бесполезную переписку прямым распоряжением, — произошел настоящий скандал.

Крапивин, прочитав бумагу, побелел от ужаса, словно перед ним лежал иск о государственной измене.

— Это что же такое?! — визгливым фальцетом закричал он на весь отдел, так что все перья замерли на полуслове. — Вы кто такой будете, сударь, чтобы свои мнения излагать?! Вы — коллежский регистратор! Ваше дело — переписывать то, что спущено сверху! А критиковать формуляры — на то есть директор департамента да сам господин министр! Вы мне тут семена бунта не сейте! Немедленно переписать, и без этой вашей самостоятельности!

Андрей Иванович выскочил из департамента как ужаленный. В груди его кипели слезы обиды. Где же слова Александра Петровича? Где великое служение? Все его высокие порывы брызнули вдребезги о непрошибаемый лоб начальника отделения.

Однако юношеский задор еще не погас окончательно. Тентетников решил: если в канцелярии нет места мысли, он найдет единомышленников в петербургском обществе! Он начал выходить в свет, бывать на вечерах, искать встреч с умными, образованными людьми.

Но и здесь его ждало горькое крушение надежд. В светских гостиных люди переливали из пустого в порожнее с тем же равнодушием, что и чиновники в департаменте, только с добавлением французского провансальского лоска. Молодые люди его возраста заботились лишь об усах, форме фрака да о том, как бы удачнее пристроиться к богатой невесте или выиграть в бостон. Когда Андрей Иванович заговаривал с ними о судьбах России, о воспитании народа и о высокой морали, на него смотрели с легкой, снисходительной улыбкой, точно на безумного или на провинциального дикаря.

— Эх, батюшка, — говаривал ему один опытный светский лев, поправляя эспри на галстуке, — вы слишком горячи. Живите легче! Служба идет — чин капает, вечером — театр да карты. Зачем себе голову сушить той дрянью, которую все равно не переделать?

Последняя, роковая капля переполнила чашу терпения Тентетникова на третьем году службы.

В департамент назначен был новый директор — человек высокопоставленный, гордый, перед которым даже сам Крапивин сгибался в дугу, напоминая по форме крючок. В один из дней директор шел по коридору. Все чиновники высыпали из дверей, вытянувшись во фронт и затаив дыхание.

Андрей Иванович, погруженный в свои мрачные мысли, стоял у окна и, поклонившись, сделал это, быть может, недостаточно низко — не с тем рабским, подбострастным изгибом спины, какого требовал чиновный этикет.

Директор остановился. Он смерил молодого человека ледяным взглядом сквозь золотое пенсне и произнес во всеуслышание, сухо и презрительно:

— А это что за молодой человек с эдаким дерзким выражением на лице? Кажется, у нас в ведомстве начали забывать, что такое истинное почтение к начальству? Крапивин, обратите внимание! У этого чиновника, я вижу, слишком много лишней спеси.

На следующий день Крапивин устроил Тентетникову настоящую экзекуцию, угрожая сгноить его в самых низших чинах и лишить всякой протекции.

Это было уже слишком. Пронеслись перед глазами Тентетникова и предсмертный лик учителя Александра Петровича, и святые клятвы юности. Написать рапорт на имя человека, не умеющего ценить человеческое достоинство? Быть рабом у Крапивина?

В тот же вечер Андрей Иванович, дрожа от благородного гнева, набросал прошение об отставке «по болезни».

Товарищи по службе смотрели на него как на сумасшедшего: бросить Петербург, сломать карьеру из-за какого-то пустяка, из-за взгляда директора! Но Андрей Иванович был непреклонен. Сложив в сундук свои немногие вещи и книги, он сел в перекладную и навсегда покинул блестящую, но ледяную столицу, твердо решив: если он не нужен государству, он станет идеальным, мудрым и полезным хозяином в собственном имении!

В тот день, когда перекладная телега, скрипя немазаными осями, увозила отставного чиновника Тентетникова из Петербурга, небо плакало мелким, холодным, типично казенным дождем.

Дорога! Какое странное, щемящее и манящее чувство рождает в русском человеке это слово! Как только колесо спустится с городских мостовых и мягко, с глухим стуком покатится по проселку, так тотчас же всё, что казалось важным, грозным и незыблемым в столице, начинает таять и превращаться в пустой мираж.

Андрей Иванович сидел, закутавшись в шинель, и смотрел на проплывающие мимо версты. Перед ним разворачивалась великая, необозримая, бесконечно печальная и бесконечно прекрасная Русь. Тянулись серые, покосившиеся избы, похожие на нахохлившихся под дождем ворон. Сменялись полосатые верстовые столбы, почтовые станции с неизменным запахом кислой капусты, дегтя и старого хомута.

На станциях ямщики, не торопясь, перепрягали лошадей, переругиваясь на таком сочном, витиеватом языке, какого не сыскать ни в одном петербургском словаре. В трактирах подавали пузатые самовары, испускавшие из себя целые облака пара, и толстые, как пуховые подушки, бабы несли на стол блины, истекающие растопленным коровьим маслом.

С каждым днем пути столица с ее директорами, крапивиными, входящими и исходящими журналами отдалялась, делалась чем-то призрачным. Но вместо ожидаемого облегчения на душу Тентетникова наваливалась какая-то неподъемная, глухая тяжесть. Он ехал спасти свою землю, но чувствовал, что эта земля слишком велика, слишком непостижима, чтобы ее мог спасти один отставной регистратор с томиком агрономии в сундуке. Эта необъятная пустота полей, сливающаяся на горизонте с серым небом, словно вытягивала из него последние соки, заранее шепча ему: «Смирись... Успокойся... Здесь не нужны твои порывы. Ложись и спи, как спят эти снега и эти черные леса».

Когда, наконец, показалась крыша его собственного барского дома, сердце Андрея Ивановича дрогнуло не от радости, а от тоски.

Усадьба Тентетниковых была построена еще его дедом с тем широким, бестолковым размахом, который так характерен для русской старины. Господский дом с деревянным мезонином стоял как-то криво, словно удивленно приподняв одну бровь. К нему предполагалось пристроить флигели, колоннаду и оранжерею, но, как водится, кирпича не хватило, плотники запили, а потом и дед помер, так что вместо оранжереи остались торчать из земли сиротливые каменные столбики, между которыми теперь вольготно разрослась лебеда да бурьян.

Перед домом лежал пруд, заросший ряской до такой степени, что по нему можно было, казалось, ходить пешком. На берегу пруда торчали черные, гнилые сваи — это были следы новой, грандиозной купальни, которую Андрей Иванович задумал строить еще в первый год своего возвращения, но которая остановилась на стадии вбивания третьего бревна, да так и замерла на века.

Возвращение Андрея Ивановича в родовое имение было подобно приезду юного, горячего полководца, готовящегося дать генеральное сражение вековому невежеству. Из Петер-

бурга он привез сундуки, доверху набитые новейшими книгами по агрономии, чертежами английских плугов, моделями молотилок и трактатами о правильном севообороте.

На другой же день по приезде он велел собрать всех мужиков на барском дворе. Выйдя на крыльцо, бледный, взволнованный, Тентетников произнес перед ними горячую, возвышенную речь. Он говорил о том, что отныне они не просто его крепостные, а сотоварищи по великому земледельческому труду, что он намерен учредить для них школу, улучшить их быт, выстроить новые прочные избы и вести хозяйство на разумных, гуманных и европейских началах.

Мужики стояли плотной толпой, переминаясь с ноги на ногу, чесали в затылках и смотрели на барина с тем непроницаемым, лукаво-покорным выражением, какое бывает только у русского крестьянина, слушающего непонятную барскую блажь.

— Поняли ли вы меня, друзья мои? — воодушевленно, со слезами на глазах закончил Андрей Иванович.

— Как не понять, батюшка Андрей Иванович! Воля ваша, вам видней, — басом прогудел из толпы хитрый староста, а про себя мужики переглянулись и решили: «Барин-то, кажись, с чудинкой, молод еще, слаб на расправу. Жить можно!»

И началась новая жизнь. Но, увы, эта жизнь с первых же шагов пошла совершенно не по книжным чертежам.

Английские плуги, выписанные за сумасшедшие деньги, с первого же захода ломались о неподатливые русские корни, после чего мужики с тайным облегчением бросали их ржаветь под дождем за сараем, возвращаясь к дедовской кривой сохе. Задуманная школа для крестьянских детей так и осталась пустым срубом: бабы прятали ребятишек, голая, что от барской грамоты дети непременно исчахнут и пойдут в солдаты.

Когда же Андрей Иванович пытался вникнуть в само хозяйство и, по своей доброте, отменял какую-нибудь тяжелую повинность, староста умудрялся так хитро запутать дело, что мужик в итоге оставался еще беднее, а весь барыш невидимым ручейком стекал в карман самого старосты. Крестьяне быстро смекнули, что барин добр, стыдлив и совершенно не смыслит в мужицкой хитрости. То один приходил просить лесу на избу, божась, что погорел; то другой со слезами жаловался на падеж скота — и Тентетников, не умея отказывать, раздавал, прощал, отпускал недоимки.

Хозяйство, лишенное строгого глаза, стремительно летело под откос.

Спустя полтора года от пылких реформаторских планов не осталось и следа. Андрей Иванович столкнулся с той глухой, непробиваемой стеной быта, о которую разбивались и не такие идеалисты. Он понял страшную вещь: между ним и этим народом лежала пропасть, и перебросить через нее мост одними лишь гуманными речами было невозможно.

Разочарование его было глубоким, горьким и беспросветным. «Зачем всё это? — думал он, просиживая долгие осенние вечера в пустой гостиной. — Для кого трудиться, если труд твой никому не нужен, если всякое твое доброе движение оборачивается обманом и насмешкой?»

Постепенно книги по агрономии покрылись сизой пылью. Чертежи новых коровников пошли на растопку печей. Андрей Иванович перестал выходить в поле, затем перестал выходить на двор, а вскоре и вовсе ограничил свои передвижения маршрутом от неразобранной постели до дивана.

Именно тогда на его плечах и обосновался тот самый широкий персидский халат. Он стал не просто одеждой, а символом его окончательной капитуляции перед жизнью. В нем было уютно, просторно, и в нем совершенно не нужно было держать спину прямо. Мечты о государственном служении испарились, планы об идеальном имении поросли густой крапивой. Душа Тентетникова уснула тяжелым, непробудным сном.

В таком-то состоянии душевной спячки, окончательно махнувшего на всё рукой, и застал его совершенно неожиданный, возмутительный для здешней тишины звук. В глубине двора,

где обычно царила сонная одурь, прерываемая разве что ленивым брехом дворового пса, вдруг заскрипели, застонали въездные ворота, лихо хлопыстнул кнут, и чей-то чужой, скрипучий бас требовательно окликнул дворовых девок.

Андрей Иванович поморщился, словно от внезапной зубной боли, и, нехотя оторвав взгляд от изразцовой печи, сунул ноги в стоптанные туфли. Шаркая по крашеным, давно не мытым половицам, он приблизился к окну, стекло которого от старости и пыли отливало слюдяной, радужной мутью.

На широкий, поросший густой муравой двор вкатывалась весьма недурной наружности рессорная бричка, из тех, в каких ездят обыкновенно холостые господа средней руки — не слишком богатые, чтобы держать цуг, но и не настолько бедные, чтобы трястись в телеге. Тяжелые колеса, густо облепленные засохшей грязью двух смежных губерний, тяжело промяли траву. Дворовые гуси, мирно щипавшие подорожник у самого крыльца, с возмущенным гого-том бросились врассыпную, а один, самый задиристый гусак, даже вытянул шею и зашипел на пегую лошадь, шедшую в пристяжке.

На козлах, в засаленном армяке, сидел кучер, осаживая лошадей с тем особенным кряхтением, какое бывает у людей, знающих себе цену и изрядно уставших от дальней дороги. Но внимание Тентетникова привлек не он.

Из недр брички, плавно покачиваясь на рессорах, показался господин не слишком толстый, однако ж и не тонкий, весьма благопристойной наружности. На нем был сюртук брусничного цвета с искрой, застегнутый на все пуговицы, несмотря на утреннюю духоту, и мягкий дорожный картуз. Господин этот, прежде чем ступить на дворовую землю, весьма обстоятельно оглядел и пошатнувшееся крыльцо, и облупившуюся штукатурку на деревянных колоннах барского дома, и даже покосившуюся крышу людской, — оглядел не с праздным любопытством, а с какой-то хозяйственной, цепкой основательностью, словно прикидывая, почем нынче пойдет этот лес, если пустить его на сруб.

«Кого это еще нелегкая принесла? — с тоской подумал Андрей Иванович, инстинктивно запахивая халат. — Никак из станowych? Нет, на чиновника по особым поручениям не похож, больно кругл и обходителен... Сосед какой-нибудь? Господи, только бы не ко мне...»

Но благонамеренный господин, легко и как-то даже изящно спрыгнув с подножки, уже велел подоспевшему дворовому мальчишке с выгоревшими на солнце волосами доложить барину о приезде коллежского советника Павла Ивановича Чичикова.

Гостиная, куда Михайло, шаркая растоптанными сапогами, ввел нежданного визитера, являла собой зрелище того особенного запустения, какое бывает только у холостяков, склонных к отвлеченным размышлениям. На ореховом столе, покрытом толстым слоем сизой пыли, лежала раскрытая книга, страницы которой от долгого лежания покособились и пожелтели; в чернильнице вместо чернил находилась какая-то засохшая гуща с завязшей в ней мухой, а по углам угрюмо жались стулья, словно избегая середины комнаты.

Тентетников вышел минут через десять. Он так и не заставил себя переодеться во фрак, ограничившись тем, что кое-как подвязал халат кушаком и пригладил пятерней спутанные со сна волосы. На бледном лице его крупными буквами было написано: «Чего тебе надобно, несносный человек, и зачем ты нарушил мой покой?»

Но Чичиков, как опытный ловец душ, мгновенно прочел эту физиогномию. Вместо того чтобы наступать с пылкими приветствиями, какие он расточал некогда Манилову, Павел Иванович сделал шаг назад, учтиво склонил голову набок и произнес тихим, почти извиняющимся голосом, в котором, однако же, слышалось глубочайшее почтение:

— Прошу великодушно простить меня, Андрей Иванович, что осмелился нарушить ваше философическое уединение. Поверьте, я первый готов укорять себя за эту дерзость. Но, проезжая ваши благословенные места и наслышавшись о хозяине как о человеке редкого ума и

глубоких размышлений, не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать свое истинное почтение.

Тентетников, приготовившийся было ответить сухо и тотчас же выпроводить гостя, несколько смутился. Ему, давно уже считавшему себя заброшенным и никому не нужным в этой глуши, слова о «редком уме» и «философическом уединении» пролились на душу как теплый елей. Халат его, до того казавшийся признаком постыдной лени, в свете этих слов внезапно приобрел достоинство античной тоги.

— Милости прошу... — пробормотал он, указывая на старый диван, пружины которого тут же жалобно скрипнули под тяжестью гостя. — Впрочем, вы ошибаетесь. Здесь нет ничего философического... одна скука и пустота. Жизнь, знаете ли, оказалась совсем не тем, чем рисовалась в юности, в столицах.

— И слава богу, что не тем! — горячо, но не повышая голоса, подхватил Чичиков, придвигаясь чуть ближе и глядя на хозяина с выражением искреннего сочувствия. — Что есть столица? Суета, ярмарка тщеславия, где люди изводят друг друга за чины и крестики, совершенно забывая о душе. Я сам, признаться, бежал от этого света, ища уголка, где бы мог приклонить голову и прожить остаток дней в трудах праведных и тишине. И вот, въехав в вашу усадьбу, я тотчас почувствовал: здесь живет человек, который постиг истинную цену вещам. Оттого-то, верно, и книги ваши... — Павел Иванович сделал изящный жест в сторону пыльного стола, — свидетельствуют о неустанной работе мысли, вдали от суетного шума.

Андрей Иванович посмотрел на забытую книгу (это был какой-то старый трактат по агрономии, открытый им два года назад и с тех пор не читанный), и вдруг почувствовал к гостю странное, теплое расположение. Впервые за много лет перед ним сидел человек, который увидел в его бездействии не опускание на дно, а глубокую, трагическую мудрость.

Тентетников вздохнул, усаживаясь в кресло, и лицо его, до того кислое и заспанное, оживилось слабой, горькой улыбкой:

— Вы добрый человек, Павел Иванович. Но признаюсь вам как на духу: трудно сохранить мысль, когда вокруг одно лишь невежество да дикие нравы. Взять хотя бы соседей... Соседи, извольте видеть... — Тентетников махнул рукой с таким искренним отвращением, словно отгонял не назойливую муху, а целую губернию. — Возьмите хоть ближайшего. Генерал Бетрищев! Человек, спору нет, заслуженный, но амбиции, амбиции-то сколько! Вообразил, понимаете ли, себя римским патрицием на том только основании, что у него на эполетах густое шитье, а в имении почитай что три тысячи душ.

Чичиков при слове «три тысячи душ» невольно подался вперед, словно его легонько толкнула в спину невидимая пружина. Лицо его сохранило прежнее сочувственно-внимательное выражение, но в глазах на одно неуловимое мгновение мелькнул тот особенный, цепкий блеск, какой бывает у опытного приказчика, увидевшего зазевавшегося купца.

— С таким человеком, — продолжал Тентетников, всё более распаляясь и нервно запахивая полы злосчастного халата, — жить в соседстве нет решительно никакой возможности. Помилуйте, он требует, чтобы к нему являлись не иначе как с докладом. Я к нему с открытой душой, по-соседски, с визитом, а он изволит разговаривать со мной таким тоном, будто я поручик, забывший застегнуть крючок на воротнике. «Я, — говорит, — Андрей Иванович, вас при случае могу в бараний рог согнуть». Меня! Дворянина, служившего в департаменте!

Павел Иванович сокрушенно покачал головой и даже слегка прищелкнул языком, всем своим видом выражая крайнее негодование на подобное генеральское самодурство. В голове же его в это самое мгновение происходила самая деятельная работа, подобная работе искусного ткача, проворно перекидывающего челнок.

«Три тысячи душ... — думал про себя Чичиков, благопристойно опуская глаза на носок своего превосходно вычищенного сапога. — Генеральский чин. А стало быть, и связи в губернском правлении, и влияние. И с эдаким-то золотым человеком этот увалень умудрился рассо-

риться из-за какого-то тона! Глуп, истинно глуп. Тут нужно не амбицию тешить, а подойти с почтением-с, польстить генеральской седине. Уж у такого барина наверняка сыщется и земля для продажи, а может, и мертвенького капиталца изрядное количество».

— Непостижимо! — произнес вслух Чичиков, приложив пухлую белую руку к груди. — Сердце кровью обливается слышать, как попирается благородное достоинство. Подобная гордыня, Андрей Иванович, есть прямое следствие душевной черствости, свойственной военному сословию. Но позвольте... неужели так-таки и прервали всякие сношения? Ведь эдакий сосед — сушая язва. Тут, того и гляди, в межевых делах пакость устроит. Не лучше ли было бы, через какого-нибудь стороннего, благонамеренного человека, намекнуть его превосходительству на всю несправедливость его суждений и, так сказать, навести мосты?

Чичиков закинул удочку так тонко и мягко, что Андрей Иванович даже не заметил, как из участливого слушателя гость начал плавно превращаться в необходимого переговорщика.

Тентетников вдруг осекся. Гнев его, вспыхнувший было так живо, разом потух, уступив место какому-то жалкому, потерянному выражению. Он опустил голову, так что нечесанные волосы совершенно закрыли лоб, и принялся рассеянно колупать пальцем отставший кусочек фанеровки на подлокотнике кресла.

— Впрочем, если сказать по совести, Павел Иванович... — голос его дрогнул и сделался глухим. — Бог с ней, с амбицией. Я бы снес и «ты», и генеральский гонор, если бы... если бы не одно обстоятельство, которое, можно сказать, перерезало самую нить моей жизни.

Чичиков весь обратился в слух, сохраняя на лице выражение почтительнейшего соборезнования.

— У генерала, изволите видеть, есть дочь, — продолжал Тентетников, тяжело вздохнув. — Ульяна Александровна. Улинька. Ах, Павел Иванович! Если б вы ее только видели! Это нечеловек, это, смею сказать, какое-то воздушное явление. Вообразите себе луч света, который вдруг прорезал эту пыльную, темную комнату... Живая, быстрая, вся — как одно порывистое движение. Мы ведь, признаться, были почти сговорены. Я уж и дом начал перестраивать, и жизнь мне казалась полной смысла... И вдруг из-за этой нелепой ссоры, из-за одного грубого слова старого самодура — всё прахом! Двери дома для меня закрыты. И вот, сижу здесь, как в могиле.

Сказав это, Андрей Иванович отвернулся к окну, и плечи его под ветхим халатом как-то болезненно сгорбились.

«Ба! — мысленно вскричал Чичиков, и сердце его сделало самый приятный, самый грациозный прыжок. — Да тут, никак, амуры! А ведь влюбленный человек — это сущий слепой теленок: надень ему на шею веревочку, и веди куда заблагорассудится. Сделай ему одолжение в любовном деле — так он тебе не только мертвых душ, он тебе живых со всем скарбом даром отдаст, еще и ручку поцелует!»

Если за минуту до того Павел Иванович видел в генерале лишь возможного обладателя мертвенького капиталца и влиятельных связей, то теперь пред ним развернулась целая стратегическая картина, освещенная, можно сказать, бенгальским огнем. Стать благодетелем! Свести рассорившихся жениха с невестой! Да после этого генерал примет его как родного брата, а этот слюнтяй в халате и вовсе расстелет перед ним всё свое имение.

— Андрей Иванович! — воскликнул Чичиков голосом, исполненным такого глубокого, такого искреннего участия, что даже сам на мгновение поверил в свою пронзительную скорбь. Он достал из кармана совершенно чистый батистовый платок и слегка прижал его к глазам. — Какая жестокая, какая непостижимая игра судьбы! Разбить два нежных сердца из-за пустой сословной амбиции! Нет, этого нельзя так оставить. Послушайте меня, человека пожившего и знающего свет. Генералы — народ вспыльчивый, это верно-с, но отходчивый. К ним нужно уметь подойти, так сказать, с нужного фланга.

Тентетников посмотрел на гостя с робкой, почти детской надеждой.

— Я завтра же, — решительно произнес Чичиков, ударив себя ладонью по колену, — завтра же велю закладывать бричку и отправлюсь к его превосходительству! Я предстану перед ним не как посторонний, а как человек, случайно узнавший о вашем благородном страдании. Уж позвольте мне, старику, взять на себя труд навести эти разрушенные мосты!

Слезы навернулись на маленькие глаза Тентетникова. Он вскочил, забыв о спадающем халате, и горячо схватил пухлую руку Чичикова, пожимая её обеими руками с такою силою, что Павел Иванович едва удержался от гримасы.

Андрей Иванович от неопишуемого умиления готов был броситься на шею своему неожиданному спасителю, совершенно позабыв о том, что еще полчаса назад почитал его за самого несносного нарушителя спокойствия. А Павел Иванович, весьма довольный таким быстрым оборотом дела, с благопристойной скромностью опустил глаза, хотя в глубине его души уже весело потирала руки та проворная, деловая мысль, которая никогда не дремлет в благонамеренном человеке, знающем прямой толк в житейских предприятиях.

Глава II

Усадьба генерала Бетрищева разительно отличалась от сонного, поросшего муравой двора Тентетникова. Здесь всё дышало строгим порядком и какою-то военной выправкой: деревья в саду стояли ровными шеренгами, словно ожидая смотра, построики были крепки, выкрашены свежей краской, а на широком дворе не смела праздно расхаживать ни одна домашняя птица.

Генерал Бетрищев принадлежал к той могучей, богатырской породе людей, которых щедро, не жалея глины и не заботясь о мелкой отделке, вылепила грозная эпоха двенадцатого года. Это был человек-монумент. Когда он вступал в комнату, казалось, будто вносили тяжелое медное орудие: половицы под ним угрожающе кряхтели, а воздух мгновенно уплотнялся.

Лицо его, увенчанное густыми серебряными усами, спускавшимися почти до самого подбородка, напоминало чеканный профиль римского патриция, чудом очутившегося в русской глубинке. Всякая черта в нем дышала крупным, размашистым благородством, но вместе с тем и той тяжелой, непререкаемой уверенностью полководца, который привык отдавать приказы сквозь грохот картечи и свист пуль.

Выйдя в отставку и поселившись в родовом имении, генерал нимало не утратил своих бивуачных привычек. Управлял он своим обширным хозяйством точно так же, как некогда кавалерийской бригадой. Каждое утро в усадьбе начиналось с громогласного раската, подобного отдаленному грому: это его превосходительство, облачившись в необъятный персидский халат, изволили призывать камердинера Пимена. От этого богатырского рыка вздрагивали стекла в рамах, дворовые девки испуганно крестились, а кучер в конюшне на всякий случай вытягивался во фрунт перед лошастью.

Однако, при всей своей громогласности, Бетрищев вовсе не был тираном. Душа у него, в сущности, была добрая, рыхлая и необыкновенно широкая, готовая распахнуться навстречу всякому искреннему человеческому порыву. Он мог до слез расчувствоваться, слушая печальную историю какого-нибудь просителя, и тут же, не считая, отсыпать ему горсть серебра.

Но подобраться к этой теплой душе можно было только одним-единственным путем: через полное, безоговорочное и благоговейное признание его генеральского превосходства. Он терпеть не мог людей вялых, мыслящих неопределенно, но пуще всего не выносил тех нынешних «петербургских вертопрахов», которые осмеливались иметь перед ним собственную, ничем не подкрепленную амбицию.

— Пороху не нюхали! — рокотал он, бывало, пуская под потолок густые сизые клубы дыма из своего длинного черешневого чубука. — В атаке не бывали, лямки не тянули, а всё туда же — рассуждать! Выучатся по-французски сморкаться, нацепят очки на нос, и думают, что уж Бога за бороду ухватили! Нет, сударь мой, ты сперва кровь за отечество пролей, тогда и голос возвышай!

Соседи побаивались его крутого нрава. Редкий уездный гость решался перечить его превосходительству, предпочитая подобострастно кивать, когда генерал излагал свои непреложные, вылитые из чугуна суждения о европейской политике, видах на урожай или гибельной порче нынешних нравов.

Полной, непостижимой противоположностью этому медному колоссу была дочь его, Ульяна Александровна. Если генерал был подобен тяжелому, незыблемому утесу, то Улинька являла собой горный ручей, весело и неудержимо звенящий по камням. В ней совершенно отсутствовало то жеманное, туго зашнурованное в корсет благонравие, которым так гордятся столичные гувернантки, выучивающие благородных девиц скрывать живое чувство за правильным взмахом расписного веера. Улинька не умела опускать глазки по правилам светского этикета и не знала, как надобно притворно вздыхать о модном французском романе.

Она была дитя природы, открытая, порывистая, не знающая лукавства. Если ей было смешно, она смеялась так звонко, запрокидывая ясную голову, что в саду смолкали птицы; если кто-то из дворовых страдал или приключалась беда у крестьян, на ее глазах тотчас вскипали горячие, неподдельные слезы, и она бесстрашно бросалась к отцу, требуя немедленной справедливости и помощи. Волосы ее, цвета спелой ржи, вечно выбивались из прически после беготни по саду, а на щеках играл такой живой, естественный румянец, какого не сыскать ни в одной парижской пудренице.

Именно эта дивная, первозданная живость, этот светлый луч и пронзил насквозь зачерствевшее, утомленное петербургскими разочарованиями сердце соседа их, Андрея Ивановича Тентетникова.

Когда он, еще полный реформаторских надежд и с остатками столичного лоска, нанес свой первый визит генералу, он увидел ее на балконе. Она кормила из рук голубей и, обернувшись на стук экипажа, посмотрела на приезжего с таким простым, ясным и приветливым любопытством, что Андрей Иванович мгновенно забыл все заготовленные светские фразы.

Начались визиты. Тентетников, с его образованием, начитанностью и некоторой меланхолической бледностью человека мыслящего, показался Улиньке фигурой необыкновенно глубокой. Он разительно, как день от ночи, отличался от местных псовых охотников, гусарских поручиков и грубоватых уездных чиновников, чьи разговоры не шли дальше рассуждений о борзых собаках да ценах на овес. Они часами гуляли по длинным липовым аллеям генеральского сада. Андрей Иванович рассказывал ей о своих идеалах, о великом предназначении человека, об учителе Александре Петровиче, и голос его, обычно тусклый, звенел от вдохновения.

Улинька слушала его, затаив дыхание. Ей казалось, что перед ней не просто сосед, а настоящий герой, непонятый жестоким светом. Между ними незаметно, как распускается весенний цветок, вспыхнуло то чистое, трепетное притяжение, которое не нуждается ни в долгих объяснениях, ни в хитросплетениях свах.

Генерал Бетрищев, заметив эти амуры, поначалу благосклонно крякал в усы. Ему внутренне льстило, что образованный столичный чиновник смотрит на его дочь влюбленными, робкими глазами. «Пусть поворкуют, — думал про себя генерал. — Малый не глуп, имение рядом. А что гонору петербургского многовато — так мы это живо из него выьем. Под моим началом он шелковым станет!»

Но генерал не учел одного: Тентетников, при всем своем прекрасном идеализме, был человек до крайности щепетильный, ранимый и болезненно, почти юношески гордый. Он приходил в генеральский дом с открытой душой, ища дружеского, родственного и, главное, равного общения. Ему хотелось, чтобы в нем видели не подчиненного, а будущего сына. А Бетрищев, по своей неискоренимой солдатской привычке, требовал от Андрея Ивановича безоговорочной субординации. В беседах генерал имел обыкновение снисходительно похлопывать Тентетникова по плечу тяжелой ладонью, рубить с плеча безапелляционными суждениями и, распалившись, обращаться к нему на раскатистое, начальственное «ты».

Гроза разразилась в один из душевных июльских вечеров. За обеденным столом, уставленным тяжелым серебром, разговор, подогреваемый густым портвейном, зашел о порядках в государстве и о способах управления крестьянами. Тентетников позволил себе высказать мысль весьма смелую: что время слепого принуждения уходит, что крестьянину нужно давать просвещение и относиться к нему не как к рабочему скоту, а как к брату во Христе, требующему справедливого закона, а не одной лишь палки.

Гости притихли, испуганно косясь на хозяина дома. Генерал Бетрищев побагровел. Густые брови его сошлись на переносице, образовав страшную, грозную складку.

— Это что еще за якобинство?! — прогремел генерал, грохнув мясистым кулаком по столу с такой чудовищной силой, что жалобно зазвенели хрустальные рюмки. — Просвещение?! Законы?!

Бетрищев грузно поднялся с кресла, нависнув над столом, словно разъяренный медведь.

— Да знаешь ли ты, милостивый государь, что от твоих петербургских книжек мужик только пить да бунтовать научится?! Я тебе скажу, как с ними обращаться надобно! Пороть их надобно, когда дело не делают, вот и весь закон! А ты, молокосос, амбицию свою выше седин ставишь! Не успел от материнской юбки оторваться, а смеешь меня, боевого генерала, в моем же доме жизни учить!

Для тонкой, обидчивой натуры Андрея Ивановича это было смертельным оскорблением. Его публично, при гостях, при женщине, которую он боготворил, высекли словом, смешали с грязью. Лицо Тентетникова сделалось белым как полотно.

— Ваше превосходительство, — произнес он голосом, в котором звенел лед и оскорбленная честь, — я полагал, что нахожусь в доме благородного человека, где уважают законы гостеприимства. Я ошибся. Ноги моей больше не будет в вашем доме.

Он сухо откланялся, не удостоив взглядом ни гостей, ни самого генерала. С того самого вечера железные ворота бетрищевского дома для него закрылись. Улинька, не смея перечить грозному отцу, увядала в разлуке, проливая горькие слезы в своей светелке, а гордый, но сломленный Андрей Иванович окончательно заперся в своей усадьбе, облачился в пресловутый халат и погрузился в глухую русскую хандру.

Именно к этому-то непреклонному, грозному соседу и отправился наш миротворец, изъявив желание распутать сей тугой сердечный узел.

Павел Иванович, выйдя из брички перед генеральским домом, напустил на себя самый почтительный, но вместе с тем не лишенный достоинства вид. Пригладив бакенбарды и удостоверившись одним быстрым движением, что брусничный фрак сидит на нем безукоризненно, он последовал за рослым лакеем в кабинет.

Увидев вошедшего, генерал не привстал и даже не шевельнулся, лишь слегка повел кустистой бровью, выпуская изо рта густое сизое облако табачного дыма.

— Милостивый государь! — произнес Чичиков, останавливаясь в почтительном отдалении от кресла и делая такой поклон, в котором чудесным образом соединились глубочайшее почтение к высокому чину и чувство собственного благородного достоинства. — Счел непременно, священным долгом, проезжая сии благословенные места, засвидетельствовать свое почтение мужу, чьи подвиги на поле брани известны всему отечеству, а, смею сказать, и далеко за его пределами.

Генерал Бетрищев смерил гостя долгим, пронизательным взглядом. В просторном кабинете повисла тяжелая пауза, прерываемая лишь уютным побулькиванием в генеральской трубке. Чичиков стоял, чуть склонив голову набок, не смея даже моргнуть лишним раз, ожидая, куда склонится чаша генеральского расположения.

Наконец, необъятная грудная клетка его превосходительства заколыхалась, и по комнате прокатился густой, раскатистый бас, подобный гулу соборного колокола:

— А! Знаю, знаю эту обходительную породу! — прогремел генерал, и в голосе его проскользнула та самая насмешливость, с какой вельможи привыкли встречать всякого рода искателей. — Вы, батюшка, верно, из тех миролюбцев, что по судебным делам шныряют, да по усадьбам землю высматривают, а при случае и в карман заглянуть не прочь? Ну, подходи, подходи поближе. Как звать-то тебя, красноречивый ты мой?

Павел Иванович нимало не смутился этим громогласным и несколько бесцеремонным приёмом. Он знал по опыту, что такие прямые, крутые натуры куда легче улестить, чем иных тихонь. Лицо его расплылось в самую приятную улыбку, и, мягко ступая по ковру, подобно осторожному коту, он приблизился к креслу.

— Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, ваше превосходительство, — говорил он мягким баритоном. — И смею уверить, никакие корыстные виды, а единственно лишь благоговение перед вашими заслугами заставили меня переступить сей порог...

— Садитесь, садитесь, Павел Иванович! — пророкотал генерал, милостиво указывая чубуком на обитые сафьяном стулья. — Небось, потрясло на наших проселках? Ну, рассказывайте, с чем пожаловали? Я, признаться, люблю людей бывалых, которые у порога не жмутся.

Чичиков присел на самый краешек стула, бережно положив шляпу на колени и придав лицу выражение совершенной душевной открытости.

— Никаких, ваше превосходительство, особенных дел не имею, кроме одного-единственного желания — насладиться беседою с умом государственным. Век нынче, извольте видеть, пошел легкомысленный. Молодежь всё больше в амбицию ударяется, не понимая, что перед заслугами, кровью купленными, следует стоять в благоговении и, так сказать, почтительном послушании.

Генерал Бетрищев с видимым удовольствием выпустил изо рта еще одно густое облако. Слова гостя лились гладко, точно подогретый мед, и, сказать по правде, весьма приходились по вкусу его превосходительству.

— Верно судите, батюшка, весьма верно! — благосклонно прогудел он, чуть откинувшись в вольтеровском кресле. — Нынче всякий молокосос, едва успев выучиться по-французски сморкаться, уже норовит свои порядки заводить да старшим перечить.

— Вот именно-с! — живо подхватил Павел Иванович, придвигаясь вместе со стулом чуть поближе. — Сердце кровью обливается смотреть на эти плоды ложной гордыни. Вот хоть бы взять, к примеру, соседа вашего, Андрея Ивановича Тентетникова...

Услышав это имя, генерал Бетрищев вскинул свои густые брови так высоко, что они едва не скрылись под спадающей на лоб седой прядью. Он вынул трубку изо рта, и лицо его вмиг приняло то самое грозное, непреклонное выражение, от которого трепетали некогда целые полки.

— Этого фанфарона? — рявкнул он, хлопнув мясистой ладонью по ручке кресла. — Да знаете ли вы, сударь, что этот мальчишка осмелился...

— Знаю-с! Всё доподлинно знаю, ваше превосходительство! — не дав генералу разразиться гневом, воскликнул Чичиков голосом, исполненным такого искреннего сокрушения, словно речь шла о его собственном непутевом племяннике. — И смею вас уверить: он уже наказан! Наказан так жестоко, как не смог бы наказать его ни один земной суд. Если бы вы только видели, ваше превосходительство, в какую бездну отчаяния, в какой прах и пепел повергнул себя этот несчастный юноша, осознав всю меру своей непростительной дерзости!

Генерал недоверчиво хмыкнул, но гнев его, не успев разгореться, несколько утих, уступив место невольному любопытству человека, которому втайне льстит чужое раскаяние.

— Прах и пепел? — переспросил он, недовольно пыхтя трубкой, хотя в базе его уже не слышалось прежнего грома. — Что-то не верится. Поди, всё так же сидит в своем халате да умничает?

— Сидит-с, ваше превосходительство, но как сидит! — Павел Иванович горестно покачал головой и прижал пухлую руку к груди. — Совершенной тенью сделался. Пищи не приемлет, на белый свет не глядит. «Погиб я, — кричит, — погиб! Лишился не только общества величайшего мужа, но и самого, можно сказать, ангела небесного, Ульяны Александровны!» Так и убивается, бедняга, так и рвет на себе волосы, почитая себя недостойным топтать ту самую землю, по которой ступает нога вашего превосходительства.

Услышав о таком совершенном уничтожении своего недавнего противника, генерал Бетрищев невольно крикнул. Льстивая, бальзамическая мазь, столь искусно приложенная Чичиковым к его уязвленной гордости, возымела свое немедленное действие. Грозные морщины на его обширном, подобном медному щиту лбу стали мало-помалу разглаживаться, а в глазах появилось то снисходительное выражение, с каким огромный мастифф взирает на твякающую шавку, посаженную на крепкую цепь.

— Эх его, однако ж, скрутило! — пророкотал генерал, выпуская изо рта вместе с дымом и остатки своего гнева. — А всё отчего, Павел Иванович? Оттого, что петербургская эта грамота впрок не идет! Пороху не нюхали, лямки не тянули, а всё туда же — в амбицию! Ну да Бог с ним, я, брат, человек прямой и зла не помню. Если он и впрямь так уж убивается да осознал свою дерзость...

Но не успел его превосходительство докончить своей милостивой фразы, как тяжелые двери кабинета распахнулись с такою стремительностью, словно их толкнул порыв свежего майского ветра. В комнату вбежала — нет, именно влетела, почти не коснувшись легкими туфельками персидского ковра, — молодая девушка. Это была та самая Улинька.

— Папенька, вообразите только, наш садовник... — начала было она ясным, звенящим голосом, но, заметив вдруг постороннего господина в брусничном фраке, внезапно остановилась на полдороге, словно испуганная с ветки горлица, и щеки ее мгновенно покрылись густым, живым румянцем.

Павел Иванович нимало не растерялся. Он тотчас же, с необыкновенною ловкостью, поднялся со своего краешка стула и отвесил такой изящный, такой округлый поклон, в котором чудесным образом соединились и восхищение юной красотой, и глубочайшее почтение к генеральской дочери. Лицо его при этом приняло выражение столь умиленное, словно пред ним предстала не обыкновенная уездная девица, а сама воплощенная добродетель.

Генерал же, при виде дочери, совершенно растаял; от его недавнего римского величия не осталось и следа.

— Поди сюда, поди сюда, не пугайся, моя радость, — проговорил генерал тем особенным, густым, но уже совершенно воркующим басом, который суровые вояки берегают исключительно для своих любимых чад. Огромная, покрытая седым волосом рука его нежно обняла девушку за талию. — Рекомендую тебе, Улинька, господин коллежский советник Чичиков. Человек весьма основательных правил и глубокого ума. Не чета нынешним столичным вертопрахам! Прошу любить и жаловать.

Павел Иванович при сих лестных словах счел непрямым долгом еще раз склонить голову. Он прижал пухлую белую руку к сердцу и произнес с той обходительной скромностью, которая так удивительно шла к его брусничному фраку:

— Его превосходительство изволит по неизреченной своей доброте приписывать слишком многое моим ничтожным заслугам. Я искал лишь высокой чести лицезреть знаменитого героя, стяжавшего славу на поле брани, а нашел, к совершенному своему восхищению, еще и картину поистине райского семейного счастья.

Улинька, несколько оправившись от первоначального испуга, сделала легкий, грациозный книксен. Ее быстрый, ясный взор на мгновение остановился на круглом, благопристойном лице гостя. В этом взоре не было ни жеманства, ни той заученной светской холодности, которой так гордятся столичные барышни, — в нем скользнуло лишь простодушное, живое любопытство.

Генерал, весьма довольный и дочерью, и гостем, и, главное, самим собою, выпустил еще одно облако дыма и благодушно прибавил:

— Ну-с, а коли так, Павел Иванович, то милости просим к нам отобедать. У нас, в деревне, ши да каша — пища наша, но уж чем богаты, тем и рады. А ты, стрекоза, — обратился он к дочери, — ступай распорядись, чтобы гостю отвели покойную комнату.

Девушка еще раз взглянула на гостя, улыбнулась какой-то своим мыслям и, легко повернувшись, упорхнула из кабинета так же стремительно, как и появилась. А Чичиков, меж тем, провожая ее взглядом, уже соображал, как бы ему за обедом, среди непринужденной беседы, словно невзначай уронить имя Тентетникова и посмотреть, какою краскою зальется при этом лицо прелестной генеральской дочки.

Столовая генерала Бетрищева была под стать самому хозяину — просторная, светлая, с дубовым буфетом, похожим своим великолепием на триумфальную арку. На столе, покрытом скатертью такой ослепительной голландской белизны, что на нее боязно было смотреть, уже выстроились тяжелые граненые графины с разноцветными водками, настаивавшимися на смородиновом листе, зверобое и горьком миндале.

Обед начался с того основательного, глубокого безмолвия, которое всегда сопутствует вкушению горячих, исходящих густым наваристым паром щей с мозговой косточкой. Павел Иванович кушал с благопристойным аппетитом, не забывая, однако ж, всякий раз после глотка аккуратно, кончиками пальцев, отирать губы батистовым платком. Генерал метал в рот ложку за ложкой с богатырским размахом, а Улинька клевала свою порцию легко, словно птичка, больше поглядывая на гостя с живым, нерастраченным деревенским любопытством.

Когда же на стол подали исполинского размера осетра, обложенного со всех сторон каперсами, раковыми шейками и оливками, Чичиков понял, что час настал. Разговор весьма кстати зашел о видах на урожай и о том, как дурно управляются иные соседние имения.

— Да-с, ваше превосходительство, — проговорил Павел Иванович, осторожно отделяя серебряною вилочкой нежный, истекающий жиром кусок рыбы. — Всякому делу, а пуще всего земельному, потребен хозяйский глаз да непременно твердость. А где этого нет, там, доложу вам, сущее разорение-с. Проезжал я наемни мимо одной усадьбы... места, кажется, превосходные, земли тучные, а всё в каком-то плачевном, сиротском запустении.

— Это чьи же такие земли? — спросил генерал, наливая себе рюмку тминной водки и благодушно прищуриваясь на свет.

— А некоего господина Тентетникова, — произнес Чичиков мягко, словно бы вскользь, нимало не возвышая голоса, но при этом всё внутреннее существо его превратилось в один невидимый, необыкновенно цепкий лорнет, направленный в сторону генеральской дочери.

Эффект превзошел все ожидания. Рука Улиньки, подносявшая в эту самую секунду к губам стакан с водою, вдруг предательски дрогнула, так что несколько капель пролилось прямо на ослепительную скатерть. Живой румянец, еще минуту назад так весело игравший на ее щеках, в одно мгновение сбежал, уступив место болезненной, прозрачной бледности. Глаза ее, до того ясные и смеющиеся, испуганно метнулись к отцу и тотчас же опустились в тарелку, а тонкие пальцы судорожно смяли бахромку салфетки, силясь скрыть внезапное, глубоко потрясшее ее волнение.

Генерал, весьма занятый в это время отправлением в рот изрядного куска осетрины, ровно ничего не заметил. Зато от Павла Ивановича не укрылось ни единое, даже самое малейшее движение. «Ага! — подумал он про себя с тем неизъяснимым, сладостным удовольствием, какое испытывает опытный игрок, заглянувший в карты противнику и увидевший там верный выигрыш. — Рана-то, видно, еще совсем свежа и беспрестанно ноет. Тут, батюшка, не просто мимолетная симпатия, тут, осмелюсь сказать, настоящая, глубокая сердечная привязанность, с которой мы теперь, при некоторой нашей сноровке, слепим такой превосходный пирог, что не только пальчики оближешь, но и на всю жизнь сыт останешься».

— Ваше превосходительство, — начал Чичиков после обеда, когда они снова расположились в кабинете, и генерал благодушно раскуривал свой черешневый чубук. — Я всё думаю об этом несчастном юноше, Тентетникове. Право, жаль его. Ведь эдакий ум, эдакое образование пропадает в деревенской глуши совершенно без всякой пользы для отечества!

Генерал выпустил густое облако дыма и слегка нахмурился, хотя уже без прежней свирепости.

— Пропадает, говоришь? Туда ему и дорога. Кто ж ему виноват, что он амбицию свою выше старших ставит?

— Истинно так-с, истинно так! — живо согласился Павел Иванович, придвигаясь поближе. — Виноват кругом, и спору нет. Но ведь, рассудите сами, ваше превосходительство:

кто может наставить на путь истинный заблудшую молодую душу, как не человек умудренный, прошедший, так сказать, сквозь огонь и воду? Вы для него — светило, непререкаемый авторитет. Стоит вам только слово сказать, только бровью повести — и он, уверяю вас, падет к вашим ногам, готовый исполнить любое поручение.

Чичиков говорил так убедительно, так мягко и почтительно, что генерал Бетрищев невольно задумался. Ему, в сущности, льстила мысль о том, что этот гордый сосед теперь страдает и сокрушается, мечтая лишь о его прощении.

— Падет, говоришь? — переспросил генерал, и в усах его мелькнула самодовольная усмешка. — Ну, это мы еще посмотрим. Я, брат, просто так не прощаю. Пусть-ка он сперва явится ко мне, да при всех извинится, как следует.

— Явится, непременно явится! — воскликнул Чичиков, мысленно потирая руки. — Я сам, если позволите, съезжу к нему и передам ваши милостивые слова. Увидите, ваше превосходительство, он еще послужит отечеству под вашим чутким руководством!

Бричка Чичикова вкатилась обратно на поросший муравой двор Тентетникова уже под вечер, когда длинные тени от покосившихся сараев легли на немытую траву. Андрей Иванович, не находивший себе места все эти часы, выбежал на крыльцо в том же самом многострадальном халате, который теперь от нервного трепета сползал с него еще решительнее.

Павел Иванович вылез из экипажа не спеша. На лице его сияла та благодатная, тихая усталость, какую можно наблюдать у полководца, только что без единого выстрела взявшего неприступную крепость, и теперь снисходительно взирающего на покоренных.

— Ну что? Что?! — задыхаясь, пролепетал Тентетников, заглядывая в глаза гостю с такой отчаянной надеждой, словно перед ним стоял вестник с помилованием от самого государя императора.

Чичиков не ответил тотчас. Он позволил хозяину увлечь себя в пыльную гостиную, степенно опустился в кресло, извлек батистовый платок, отер им несуществующий пот с чистого лба и лишь тогда, выдержав самую томительную паузу, произнес:

— Можете, Андрей Иванович, благодарить Создателя. И, пожалуй, немного... — тут он скромно потупил взор, — моего ничтожного усердия.

Тентетников побледнел.

— Неужели... неужели его превосходительство...

— Крепость сдалась-с! — победоносно возвестил Чичиков, делая пухлой ручкой такой жест, будто смахивал со стола невидимую пылинку. — Но, доложу я вам, какого труда это стоило! Генерал, как вы изволили справедливо заметить, человек нрава крутого, кремневого. Сперва и слушать не хотел. Метал громы и молнии, грозился стереть в порошок. «Не пушу, — кричит, — на порог этого фанфарона!»

Андрей Иванович жалобно сжался, словно генеральские громы эти гремели прямо здесь, в его заброшенной гостиной.

— Но мы, — продолжал Павел Иванович, сладко улыбаясь, — тоже не лыком шиты. Мы к нему и так, и эдак, подошли с нужного фланга. Я ему обрисовал вашу пылкую натуру, ваше искреннее, глубочайшее раскаяние. Сказал, что вы совершенно иссохли, что пища вам не в пищу, и что жизнь без его генеральского расположения для вас не имеет решительно никакой цены. И что же вы думаете? Дрогнуло стариковское сердце! Слеза, могу сказать, прошибла его превосходительство!

— Боже мой... — только и смог вымолвить Тентетников, прижимая обе руки к груди. — Павел Иванович! Вы мой спаситель! Вы... вы ангел! Но... она? Улинька? Неужели я снова смогу...

Чичиков прищурился, и в глазах его мелькнул тот самый лисий, практический огонек, который появляется у дельца, готового предъявить вексель к оплате.

— А насчет Ульяны Александровны, — произнес он с расстановкой, значительно понизив голос, — скажу вам только одно: когда я совершенно случайно обронил за обедом ваше имя, прелестное лицо ее так вспыхнуло, а ручки так задрожали, что для всякого человека, имеющего хоть каплю проницательности, сделалось ясно: там, в этом юном сердце, живет для вас самый теплый, самый нежный уголок. Генерал ждет вас завтра к себе. И если вы поведете дело с должным почтением-с, то, смею поручиться, весьма скоро мы погуляем на знатной свадьбе!

Тентетников, окончательно лишившись всякого самообладания, бросился на шею Павлу Ивановичу. Халат его при этом порывистом движении окончательно распахнулся, но Андрею Ивановичу было уже решительно всё равно. Он плакал от избытка чувств, а Чичиков, осторожно похлопывая его по вздрагивающей спине, мысленно уже прикидывал, как бы половчее перевести этот поток горячей благодарности в русло разговора о тех самых крестьянах, которые хотя и числятся мертвыми, но для его предприятия живет всех живых.

Павел Иванович, выждав, когда первые восторги утихнут и Андрей Иванович, всё еще всхлипывая и поминутно запахивая свой непослушный халат, опустится обратно в кресло, принял вид весьма озабоченный и даже слегка наставительный.

— Ну-с, Андрей Иванович, — начал он мягко, с расстановкой, — сердечное ваше дело, слава Богу, на верной дороге. Теперь, когда вы, так сказать, находитесь на самом пороге нового счастья, не мешало бы привести в порядок и дела хозяйственные. Ведь генералы, сами изволите знать, народ щепетильный, любят, чтобы у будущего зятя в имении всё было исправно, как на смотру.

Тентетников рассеянно кивнул. Мыслями он был уже далеко, где-то в светлых чертогах, рядом с порхающей Улинькой, и слово «хозяйство» отозвалось в нем лишь глухой, отдаленной скукой.

— А между тем, — продолжал Чичиков, придвигая свой стул поближе и понижая голос почти до доверительного шепота, — дела земные требуют нашего попечения. Вот, к примеру, ревизские сказки. Крестьяне мрут-с, таков уж удел человеческий, от этого никуда не уйти. А подать за них, за мертвых, извольте платить в казну, как за живых, вплоть до самой новой ревизии. Небось, и у вас в имении этаких душ, переселившихся в мир иной, наберется изрядное количество, за которые вы напрасно несете убыток?

Тентетников с недоумением посмотрел на гостя.

— Право, не знаю... — пробормотал он, силясь спустить себя с небес на землю. — Должно быть, есть. Староста, помнится, что-то докладывал на прошлой неделе... Пров, кажется, помер, да еще кузнец Михей... Но к чему вы это, Павел Иванович?

Чичиков тяжело вздохнул, устремив глаза на покоробленную книгу, лежавшую на столе, словно ища в ней сочувствия к тяготам человеческой судьбы.

— К тому-с, добрейший Андрей Иванович, что я, по странной прихоти обстоятельств, нахожусь теперь в таком положении... Покупаю я, изволите видеть, землю на вывод. В Херсонской губернии. Места отличные, благодать! Но по закону-с требуется, чтобы на земле той непременно числились крепостные. А где ж их взять живых, когда они нынче в такой немилосердной цене? Вот я и подумал: отчего бы мне не избавить хороших людей, моих благодетелей, от лишних налогов? Вы бы передали мне тех душ, что на бумаге числятся, а в существе своем уже предстали пред Всевышним, а я бы, так сказать, принял на себя эту тяготу, да и все пошлины за совершение крепости взял на свой счет.

Слова эти были произнесены с таким совершенным простодушием, с такой трогательной готовностью пожертвовать собою ради ближнего, что даже самый прожженный губернский стряпчий не тотчас усмотрел бы в них подвоха. А что уж говорить о Тентетникове! Разум его, и в лучшие-то времена не склонный к практическим соображениям, а теперь и вовсе ослепленный внезапным счастьем, решительно отказался понимать юридическую тонкость этой сделки.

— Мертвых? — переспросил он, растерянно моргая. — Вы хотите... взять у меня мертвых?

— Никак нет-с, не взять, а просто перевести на свое имя! Сделать, так сказать, пустую бумажную формальность! — торопливо, но необыкновенно ласково поправил Чичиков. — Для вас — совершенное избавление от лишней подати перед казной, а для меня — возможность соблюсти законную букву. Согласитесь, какая безделица в сравнении с тем огромным, неизреченным счастьем, которое ожидает вас завтра в генеральском доме!

Тентетников, всё еще ничего не понимая, но чувствуя безграничную, щенячью признательность к человеку, вернувшему ему смысл жизни, закивал головой:

— Боже мой, да берите их всех, Павел Иванович! Если это может принести вам хоть малейшую пользу... Я сейчас же велю позвать старосту! Берите кого угодно, хоть всех мертвых, хоть живых! Я вам жизнью обязан!

В груди Павла Ивановича разлилась такая теплота, словно он выпил залпом стакан лучшего подогретого рома.

Утро следующего дня возвестило о себе в усадьбе Тентетникова неслыханным доселе происшествием. Знаменитый халат, этот верный спутник меланхолии, свидетель стольких горестных вздохов и душевных зевот, был безжалостно низвергнут с плеч хозяина и заброшен в самый темный угол спальни, где тотчас же сделался предметом крайнего изумления дворового кота.

Дворня пришла в совершенное смятение. Андрей Иванович, еще вчера напоминавший вялую, перезимовавшую муху, теперь носился по комнатам, требуя горячей воды для бритья, свежей голландской рубашки и парадного фрака, который не извлекался из недр шкафа, почитай, с самого дня роковой ссоры.

Павел Иванович Чичиков, успевший еще спозаранку, под шумок этой суматохи, весьма ловко переговорить со старостой и с величайшим удовольствием упрятать в свою шкатулку нужную бумажку со списком отошедших в мир иной крестьян, сидел в столовой за утренним чаем. Он с чувством глубокого, философического умиления наблюдал, как преобразается человек, окрыленный надеждой и направляемый опытной рукою.

— Смелее, смелее, Андрей Иванович! — напутствовал он выходящего на крыльцо соседа, который, будучи затянут в строгий галстух и гладко выбрит, выглядел теперь совершенно исправным женихом. — Помните: повинную голову меч не сечет. Предстаньте пред его превосходительством с открытым сердцем, и, уверяю вас, весьма скоро мы будем пить шампанское!

Тентетников, не в силах вымолвить ни слова от волнения, лишь крепко, обеими руками сжал руку своего спасителя, прыгнул в коляску и крикнул кучеру: «Пошел!».

В кабинете генерала Бетрищева, меж тем, всё было приготовлено к приему покорного грешника. Генерал сидел в своем вольтеровском кресле, напустив на лицо выражение самое суровое и непреклонное, хотя в глубине души, подогретой вчерашними речами Чичикова, уже давно всё простил.

Когда Андрей Иванович переступил порог и, не смея поднять глаз, остановился у самых дверей, словно ожидая приговора, генерал выдержал паузу. Пауза эта длилась ровно столько, сколько требовалось для совершенного соблюдения генеральского достоинства и окончательного сокрушения юношеской гордыни.

— Ну что, брат? — произнес он наконец своим трубным, раскатистым басом, в котором, однако, уже не было прежнего, испепеляющего грома. — Что, петербургская наука? Выветрилась? Понял теперь, что перед старшими, которые кровь за отечество проливали, амбицию свою нужно в карман прятать?

Тентетников поднял было голову, намереваясь, как он репетировал всю дорогу, произнести весьма гладкую и чувствительную речь о своих заблуждениях. Но, встретившись с этим

проницательным, устремленным на него из-под кустистых бровей взглядом, вдруг почувствовал, как все заготовленные слова совершенно слиплись в горле.

— Ваше превосходительство... — пролепетал он, и голос его, к собственному его ужасу, предательски сорвался на какой-то жалкий, глухой хрип. — Я... виноват-с. Совершенно, кругом виноват.

Он тяжело сглотнул, опустил голову так низко, что подбородок уперся в самый узел щегольского галстука, и прибавил совсем тихо, но с такою неподдельной, сокрушенной искренностью, какой не сыграл бы ни один столичный трагик:

— Глуп был. Простите ради Бога.

Генерал Бетрищев, видевший на своем веку немало людей и умевший безошибочно отличать фальшивую монету от настоящей, в одно мгновение понял, что этот бледный, трясущийся сосед стоит перед ним совершенно обезоруженный, без малейшей тени былой амбиции. И старое солдатское сердце его, которое, в сущности, никогда не было каменным, разом дрогнуло и распахнулось.

— Ну, полно, полно, брат! — пророкотал он, тяжело поднимаясь с вольтеровского кресла и распахивая необъятные полы своего халата. — Кто старое помянет, тому глаз вон! Иди-ка сюда, дай я тебя обниму! Бог простит, и я прощаю!

Он сгреб Андрея Ивановича в свои медвежьи объятия, притиснув его к широкой груди с такою силою, что у бедного Тентетникова едва не хрустнули ребра. В этот самый миг двери кабинета снова отворились, и на пороге, точно светлый, робкий луч, возникла Улинька. Она замерла, не смея поверить своим глазам, и лицо ее в одну секунду озарилось таким ясным, таким пронзительным счастьем, что в сумрачной комнате словно бы сделалось вдвое светлее.

Когда счастливые жених с невестой, не чуя под собой ног, выпорхнули в сад, чтобы наговориться вдоволь после долгой разлуки, генерал Бетрищев грузно опустился обратно в кресло. Он тяжело и сладостно вздохнул, потянулся за чубуком и с благорасположением воззрился на Павла Ивановича.

— Ну, брат, удружил, нечего сказать! — пророкотал он, пуская под потолок густое облако. — Кабы не ты, этот дурак так бы и сидел в своем халате. Уж проси чего хочешь!

Павел Иванович, только того и ждавший, не замедлил воспользоваться столь счастливой минутою. Лицо его вмиг приняло выражение самое озабоченное и даже скорбное. Он придвинул свой стул вплотную к генеральскому креслу, понизил голос до таинственного полупшепота и начал издалека:

— Ох, ваше превосходительство... Если бы вы только знали, в каком безвыходном, можно сказать, трагическом положении находится теперь тот, кто имеет честь сидеть перед вами.

Генерал удивленно приподнял кустистую бровь.

— А в чем, собственно, дело, батюшка? Уж не в карты ли проигрался?

— Если бы в карты-с! — горестно вздохнул Чичиков. — Судьба, ваше превосходительство, судьба нанесла мне удар с самой неожиданной стороны. Имеется у меня, изволите видеть, дядюшка. Человек, сказать по правде, сказочного богатства, но на старости лет впавший в совершенное самодурство. Капризен, как дитя, и упрям, как сто чертей!

Чичиков сделал драматическую паузу, позволив генералу проникнуться сочувствием к племяннику сумасбродного старика, и продолжил:

— И вот втемяшилась ему, ваше превосходительство, в седую голову блажь: «Не дам тебе, говорит, ни копейки наследства, покуда не докажешь, что ты сам человек основательный. Как будет у тебя имение и триста душ крестьян — тогда всё мое состояние твое. А нет — всё отпишу в опекунский совет!». А где же мне, скромному чиновнику, взять разом триста душ? Хоть в петлю полезай!

Генерал сочувственно крякнул и почесал за ухом.

— Да-с, оказия... — протянул он. — Старичье нынче чудное пошло. И что ж ты думаешь делать?

Тут Павел Иванович перешел на самый интимный, бархатный шепот, прижав пухлую руку к груди:

— И пришла мне в голову, ваше превосходительство, мысль отчаянная. Ведь ему, дядюшке моему, главное что? Бумажку показать! Увидит крепость с печатями — и тотчас успокоится. Вот я и осмелился просить вашего превосходительства... Не уступите ли вы мне тех крестьян, что в ревизской сказке значатся живыми, а на деле давно уже преставились? Сделка-то пустая, безделица, бумажный мираж! Но я бы эту бумагу старому хрычу под нос сунул — и дело в шляпе!

В кабинете повисла тишина. Генерал Бетрищев сидел с открытым ртом, всё еще сжимая в зубах черешневый чубук. Глаза его, устремленные на Чичикова, начали медленно округляться. Затем в необъятной грудной клетке его превосходительства что-то булькнуло, заклокотало, и вдруг наружу вырвался такой оглушительный, такой богатырский хохот, что хрустальные подвески на бронзовой люстре испуганно зазвенели.

— Ха-ха-ха! — гремел генерал, запрокидывая голову и хлопая мясистыми ладонями по коленям. — Ох, уморил! Ох, батюшка, не могу! Дядю! Дядю надул!

Лицо генерала сделалось багровым, как спелый помидор. Он смеялся всем своим могучим телом: трясся его необъятный живот, сотрясались плечи, подпрыгивали седые усы. Смех этот переходил в кашель, кашель — снова в раскатистый хохот.

— Мертвых! — выкрикивал он, задыхаясь и утирая выступившие на глазах слезы. — Мертвых за живых выдал! Ну, пройдоха! Ну, гусар! Каков гусь, а?! Облапошил старика!

Чичиков сидел, скромно потупив взор и сохраняя на лице выражение самой почтительной невинности, хотя в глубине души его ликовал целый оркестр. Он понял, что наживка проглочена, причем проглочена с таким неописуемым восторгом, какого не мог бы ожидать даже он сам.

— Да бери, бери их всех, мошенник ты этакий! — кричал генерал, изнемогая от смеха и грозя Чичикову пальцем. — Я тебе их даром отдам, еще и сам за крепость приплачу, только за то, что ты такую штуку выдумал! Ах, дядю... ох, надул!

Утро следующего дня началось для Павла Ивановича с самых приятных и сладостных хлопот. Знаменитая шкатулка красного дерева, эта верная спутница всех его коммерческих побед, пополнилась еще одной весомой бумагой, скрепленной размашистой генеральской подписью. Бетрищев, провожая гостя на крыльце, всё еще не мог удержаться от смеха. Он то и дело грозил Чичикову вслед пухлым пальцем и, утирая выступившие слезы, гудел на весь двор:

— Ну, гусар! Ну, облапошил дядю! Счастливого пути, пройдоха!

Распрощавшись с расцветшим, словно майская роза, Тентетниковым и сияющей Улинькой, Чичиков велел Селифану закладывать лошадей. Путь его лежал теперь к родственнику генерала, полковнику Кошкареву.

Глава III

Бричка мягко покатила по пыльной проселочной дороге. День выдался на редкость хорош. Солнце припекало, в воздухе стоял густой, пряный аромат нагретых трав. Павел Иванович, убаюканный мерным покачиванием рессор и мыслями о будущих миллионах, завернулся в шинель, надвинул картуз на самые брови и благополучно предался послеобеденной дремоте.

И тут-то вступила в свои права русская проселочная дорога — это непостижимое творение отечественной природы и человеческого нерадения. Известно, что всякий большак у нас начинается обещаниями самыми широкими и гладкими: по обеим сторонам тянутся ровные канавы, верстовые столбы стоят, как на смотру, а колесо катится с приятным, обнадеживающим шелестом. Но стоит проехать верст пять, как дорога начинает лукавить. Она вдруг сужается, виляет хвостом, разбивается на три совершенно одинаковые колеи, ныряет в овраг, где с весны не просыхала лужа величиной с доброе озеро, и, наконец, вовсе теряется в густом березняке, оставляя путника в совершенном недоумении.

Пока Павел Иванович предавался сну, бричка катилась своей чередой, повинуюсь не столько натяжению вожжей, сколько внутреннему, таинственному чутью кучера Селифана.

Всякий русский барин знает, что кучер — это не просто человек, правящий лошадыми. Это особое сословие, отдельная каста людей, сросшихся с козлами до такой степени, что вне брички они теряют всякий смысл и даже как бы уменьшаются в росте. Селифан принадлежал именно к этой породе. О его прошлом мало кто знал, да и сам он вспоминал о нем редко, измеряя свою жизнь не годами, а верстами, сломанными рессорами да выпитыми штофами. В услужение к Павлу Ивановичу он попал как-то незаметно, прижился и стал совершенно необходимой деталью экипажа, вроде медной бляхи на упряжи.

Когда Чичиков вершил свои великие коммерческие дела в присутственных местах или вкушал кулебяки в господских столовых, жизнь Селифана обретала свой истинный, глубокий смысл. Он отпраплялся в людскую или, что еще милее его сердцу, в придорожный кабак.

В кабаке Селифан не просто пил. Пьянство ради пьянства он, как человек с понятием, презирал. Для Селифана штоф сивухи был ключом, отпиравшим двери к высокому философскому общению. Едва пропустив первую рюмочку и утерев губы рукавом армяка, он начал смотреть на мир глазами, полными вселенской любви и всепрощения. Всякий встречный мужик, будь то незнакомый кузнец в прокопченной рубахе или проезжий целовальник, мгновенно становился для него «приятелем» и «хорошим человеком».

— Ты, брат, послушай меня, — говаривал Селифан, обнимая за плечи совершенно незнакомого дворового и заглядывая ему в глаза с увлажненной искренностью. — Ты человек почтенный. Я тебя уважаю. Потому что как на свете заведено? Всякому нужно уважение. Лошадь — она скотина неразумная, а и та ласку понимает. А уж человек, крещеный... Ты меня уважаешь?

Получив утвердительный ответ, Селифан расцветал. Он мог часами вести неспешные, витиеватые разговоры о видах на урожай овса, о том, как нынче скверно куют колеса, и о том, что барин его, Павел Иванович, — «человек государственный, бумаги знает».

Но самыми главными собеседниками в жизни Селифана были, разумеется, кони. Отношения его с тройкой носили характер глубоко личный, почти родственный. Гнедого коня, коренника, он уважал за силу и степенность, называя его не иначе как «почтенным заседателем». Пристяжного чубарого считал работником честным, но недалеким. Зато третий, пегий конь, был для Селифана вечной занозой в сердце и предметом нескончаемых диспутов.

Пегий был от природы лукав. Он обладал удивительной способностью делать вид, будто тянет изо всех сил, грозно раздувая ноздри и мотая головой, в то время как постромки его предательски провисали, и вся тяжесть брички ложилась на гнедого.

— Ишь ты, панталонник немецкий! — выговаривал ему Селифан, свешиваясь с козел на ходу. — Ты что же это, схитрить думаешь? Ты думаешь, я не вижу, как ты ухом ведешь да от работы отлыниваешь? Нет, брат, ты не туда попал! Ты обязан трудиться наравне со всеми, коли в одну упряжку поставлен. Честность, брат, она для всех одна!

И Селифан с удовольствием, но не со зла, а исключительно в воспитательных целях, потчевал пегого кнутом по круглому боку. Пегий недовольно дергал ушами, натягивал постромку ровно на три минуты, а затем, улучив момент, когда кучер снова погружался в созерцание пролетающих ворон, вновь принимался беззаботно перебирать ногами, не вкладывая в это ни малейшего усилия.

Так и ехали они по бесконечным русским проселкам: хитрый пегий конь, трудолюбивый коренник, спящий в кибитке приобретатель душ и разомлевший Селифан, изредка поющий тонким, заунывным голосом песню, у которой не было ни начала, ни конца, а была только одна бескрайняя, тягучая дорога.

За этой глубокомысленною беседой Селифан совершенно не заметил, как бричка подъехала к развилке. Дорога расходилась тремя лучами. Столба с указателем, разумеется, не было — он давно сгнил и был унесен местными мужиками на растопку бани. Селифан, недолго думая и не желая будить барина, доверился инстинкту, а точнее, пегому коню, который уверенно свернул на самую узкую, заросшую ромашками колею.

Спустя полчаса пейзаж начал стремительно дичать. Вместо светлых березовых рощ потянулся угрюмый, темный ельник. Колеи сделались такими глубокими, что бричка начала угрожающе крениться с боку на бок. Чичиков проснулся от того, что его пребольно подбросило на корневище, и он ударился затылком о кожаный верх.

— Эй, болван! Ты куда заехал? — закричал Павел Иванович, высовываясь из брички и озираясь по сторонам. — Это что за чашоба? Где имение полковника Кошкарёва?

Селифан почесал в затылке, сдвинул шапку на самые глаза и озадаченно оглядел глухой лес.

— А кто ж его знает, Павел Иванович, — ответил он с обезоруживающим простодушием. — Дорога-то, извольте видеть, сама как-то эдак... свихнулась. Видать, леший путает.

В этот самый миг из-за поворота, оглашая лес чудовищным, душераздирающим скрипом, выползла телега. Скрипела она так, словно в ней разом резали дюжину поросят. На телеге, свесив босые ноги, сидел мужик в изорванном зипуне и соломенной шляпе, потерявшей всякую форму. Вез он, судя по всему, пустые дегтярные бочки.

— Эй, любезный! — окликнул его Чичиков, обрадовавшись живой душе. — Далеко ли отсюда до деревни полковника Кошкарёва?

Мужик натянул вожжи. Телега, издав последний предсмертный визг, остановилась. Мужик долго, исподлобья разглядывал городскую бричку, барина во фраке цвета наваринского дыма с пламенем и самого Селифана.

— До Кошкарёва-то? — переспросил мужик, неспешно ковыряя в ухе грязным пальцем. — А тебе на что Кошкарёв? Бумагу какую несешь, али так, по дурости?

— Тебе говорят, дорогу показывай, а не рассуждай! — прикрикнул Чичиков.

— Дорогу... — мужик неторопливо поправил шляпу. — Дорога туда известная. Как поедешь Горелую плешь — это где наемдни у Власа баня сгорела, — так бери забирай вправо. Но не в то право, где кривая сосна стоит, а в то, где овраг глинистый. Как в овраг спустишься, там лужа будет. Лужу ту объезжай левым краем, потому как с правого кобыла дьякона третьего дня увязла — еле вытащили. А как вылезешь — увидишь мостик. Мостик тот гнилой, ты по нему не езд, а бери вброд...

— Да стой ты, стой! — схватился за голову Чичиков. — Какая лужа? Какой дьякон? Ты скажи толком: мы сейчас правильно едем?

Мужик посмотрел на дорогу, потом на солнце, потом снова на Чичикова.

— Ежели к Кошкареву, то неправильно, — философски изрек он. — Вы, барин, почитай, верст десять как в обратную сторону прете. Вам бы теперь развернуться, да доехать до Кривого камня, а там взять левее...

Чичиков в сердцах плюнул, велел Селифану не слушать этого дурака и ехать прямо, рассудив, что всякая русская дорога рано или поздно куда-нибудь да выведет. Мужик, ничуть не обидевшись, хлестнул свою лошаденку, телега снова завизжала на весь лес и скрылась за деревьями.

Бричка потащилась дальше. Тряска сделалась невыносимой. Два часа они плутали по совершенно диким, заросшим папоротником и лещиной местам. Селифан уже давно перестал разговаривать с пегим конем и только угрюмо кричал на каждой кочке. Павел Иванович, совершенно измученный, вцепился в кожаные ремни, проклиная и русские дороги, и ворон, и генеральскую сивуху, и самого полковника Кошкарева.

И вот, когда отчаяние уже готово было овладеть сердцем нашего героя, лес внезапно расступился, и бричка выехала не к строгим усадебным постройкам полковника, а к живописному, поросшему камышом берегу широкого озера.

И тут глазам Павла Ивановича предстала картина поистине эпическая. На самом берегу, у воды, стоял человек совершенно необъятной, арбузной толщины. По причине невыносимого полуденного жара он был без сюртука и галстука, в одной только распахнутой парусиновой рубашке, являя миру свое выдающееся, подобное медному котлу, брюхо. Человек этот, багровея от неистового азарта, махал руками и кричал зычным, срывающимся на петушиный фальцет голосом мужикам, которые по колено в воде тянули тяжелый, бьющийся серебром невод:

— Тяни, дьяволы, тяни! Ох, уйдет стерлядь! Куда тащишь, олух царя небесного, правей забирай! Правей, говорю!

Это был знаменитый на всю округу Пётр Петрович Петух — помещик, у которого душа, мысли и самые возвышенные стремления давно и бесповоротно переселились в желудок. Заметив остановившуюся бричку и выглядывающего из нее благообразного барина, Пётр Петрович нимало не смутился своим неглиже. Напротив, лицо его расплылось в широчайшей, гостеприимной улыбке, и он замахал Чичикову обеими руками, словно старому приятелю:

— Милости просим! Милости просим! Никак заблудились? А у нас, извольте видеть, осетрик пошел! Заворачивай оглобли, батюшка, без обеда со двора не пушу!

Павел Иванович, хотя и имел первоначальное намерение поспеть к полковнику Кошкареву до обеда, рассудил про себя, что от такого искреннего, бьющего через край радушия отказываться было бы решительно грешно. К тому же желудок его, с самого утра не видевший ничего, кроме чашки жидкого чая у Тентетникова, весьма одобрительно, почти с музыкальным урчанием, отозвался на слово «осетрик».

— Сделайте милость! — отвечал он, приподнимая картуз с учтивостью необыкновенною. — Заблудились-с, признаться, немного, но при таком приятном случае готов почтить эту ошибку за величайшее благо.

Селифан, тоже, видимо, смекнувший, что в этом дворе пахнет не только густым овсом, но и щами с наваром, с необычайной проворностью осадил коней и ловко развернул дышло. Пётр Петрович тем временем, оставив невод на попечение мокрых мужиков, которые, крихтя, выволакивали на песок тяжелую, бьющуюся серебром стерлядь, вперевалку, тяжело дыша, но с сияющим лицом поспешил навстречу гостю.

Усадьба Петуха оказалась совершенно под стать хозяину: дом был выстроен не столько для фасона и архитектурной красоты, сколько для того, чтобы в нем было просторно, тепло и, главное, сытно. Никаких тебе античных колонн, облупившихся портиков или модных бельведеров, зато кухня, стоявшая поодаль во дворе, дымила в три кирпичные трубы так усердно и густо, что, казалось, там непрерывно совершалось какое-то грандиозное языческое жертвоприношение.

Едва они переступили порог просторных сеней, как Пётр Петрович, даже не осведомившись еще о чине и имени гостя, тотчас же начал метать распоряжения. Голос его, еще недавно громылавший на берегу подобно иерихонской трубе, теперь принял тон ласковый, певучий и почти религиозный:

— Пелагея! — кричал он куда-то в темные недра коридора. — А ну-ка, матушка, мечи на стол! Да смотри мне, кулебяку-то, кулебяку не забудь! И чтобы с одного боку, понимаешь, щечки осетровые да вязига, а с другого — гречневая каша, да грибочки, да лучок, да сладкие молоки! Да чтоб с исподу она, бестия, была бы пропечена так, чтобы корочка рассыпчатая была, не то чтобы сухая, а так, знаешь, чтобы во рту сама таяла, как весенний снег! А к ухе, смотри, расстегаев дай! И чтоб в каждом расстегае кусочек налимьей печенки сидел!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.